



## Сергей ТРЕТЬЯКОВ

### Поэт на трибуне

(Последние стихи Маяковского)

В книге «Все», где собраны произведения Владимира Маяковского за десять лет его творчества, с 1909 по 1919 год, значатся стихи 1919 года, девять кованных в революционной кузнице гонгов.

Товарищи! На баррикады,  
баррикады сердец и душ, —

кричит он сигнально в первом стихотворении «Приказ по армии искусства».

Да это — митинг! Это — демагогия! Это публицистика! — недоуменно, а часто и ехидно восклицают голоса.

Оставляю в стороне вопрос о раскрепощении стихотворного сюжета, т. е. того сложного образа, который являет собою цельное стихотворение, в порядке соподчинения отдельных элементов стиха общему заданию, ибо это раскрепощение десять лет тому назад уже было заявлено футуристами; отмечу только — эти стихи такие же кровавые и кровные клоки Маяковского, как и все остальное им написанное. И созерцание Маяковского, и его любовь, и издевка, и гнев, и тоска его, и, наконец, его призыв и требование — все равноценно в том живом организме, который называется творчеством Маяковского.

Маяковский на трибуне? Да! И давно уже.

За небольшим исключением, все творчество Маяковского — или трибуна, или голгофа, или пост объяснителя в паноптикуме. Разве хоть раз Маяковский изменял «сегодня», тому великому окну, в которое имеющие глаза видят «завтра»? Разве хоть одна строка Маяковского имеет жизнь и смысл, если она струной не протянута с трибуны к аудитории?

Десять лет тому назад «потненьким и покорненьким» он бросил вызов:

А вы ноктюРН сыграть могли бы  
на флейтах водосточных труб?

Остро трибунны его

Бейте в площади бунтов топот!

А «Тринадцатый апостол», который был сплошным «долоем» — «вашему искусству, вашей религии, вашей любви и вашему строю»!

Не только под знаком спокойного созерцания, но и в напряжении боевого рывка рождаются подлинные стихи.

Маяковский — громоздкий бунтарь и проламыватель стен в будущее — никогда не ходил брать взаймы для своего творчества у антикваров и на бутафорских складах. Всегда на улице, в толпе, в кипении многолюдных движений, он никогда не изменял основному стержню своему — чутью огромного чуда, ежесекундно являемого каждой вещью, и поиску правды человеческой. В каждом «сегодня» умел он нащупать ту громаду, которую надо обкусать зубами строф, чтобы создать монумент действительности, достаточно высокий, чтоб его было видно из завтрашних дней.

Не ему ли, в самые глухие предвоенные дни бившемуся тараном головы в отвесы слежалой пошлости под вопли «Распни, распни его», не ему ли радостно было принять и благословить расцветшую революцию, «детскую, звериную, великую, копеечную»?

Одетый в яркоцветные одежды и яркозвонные коряжистые слова, не Маяковский ли «наглый и едкий» фланировал в благополучных комнатах «квартирного тиха», как передовой лазутчик грядущего племени завоевателей, приход которого он чуял задолго? Он верил, что вспыхнет кровь, в которой щепотью соли истает вся соль земли, вся незыбль уклада, быта и верований, и уже в те дни провел он между собой и «обществом» резкую траншею боевой вражды.

Меня одного сквозь горящие здания  
проститутки на руках как Христа понесут  
и покажут Богу в свое оправдание.

.....

Вижу идущего через горы времени,  
которого не видит никто.

Я сутенер и карточный шулер.

Он же остро мечтал в своей «Трагедии»:

Граненых строчек босой алмазник,  
взметя перины в чужих жилищах,  
зажгу сегодня всемирный праздник  
таких богатых и пестрых нищих.

Любовно встречает он пришедших с революцией звериных и детски-конфузливых, подло развязных или блаженно смелых, волящих творить свою человечью жизнь. Крестный путь их в одиночестве сквозь голод и духовную темень ваяет поэт строками «Мистерии-буфф». Но характерно, как запутался он в опереточных картонных радугах той земли обетованной, куда пришли наконец его «нечистые», проломившие землю, ад и небо неслыханным маршем изголодавшихся о человечьем счастье.

Земля обетованная? Устойчивость беспечального жития?

Но ведь революция жива не в благодушии самодовлеющего распорядка, не в измененных формах государственного управления, не в обновленных вывесках над дверьми канцелярий, но лишь в расплаве души человеческой, радующейся еще творимому прыжку от тенет былого быта в то будущее, которое еще лишь грезится, которого еще нельзя нащупать, и тем острее жажда и напряженнее мышцы дерзающего домогаться.

Для поэта ценнейшим в революции является то восторженное сознание человека-творца, когда весь мир, вся история и культура, со всеми ценностями и формами своими ложится к рукам его — лепи! Революция — пламенель, в которой беглыми, хищными пламенами изостряется мозг изобретателя, воля полководца и страсть поэта. Обетованная страна найдена.

В раю залы ломит мебель,  
услуг электрических покой фешенебелен.

Но подозрительно настораживается поэт: а вдруг сквозь опадающий пламень окажется, что колонны и фундаменты вчерашнего не выжжены дотла? Не потянет ли людей отдохнуть, приспособив к обиходу нового бытия оскребки погорелища, благо работа была прочная? Беспокойно следит поэт, как на усталости от революционного напряжения, на доверчивости новых хозяев жизни не прочь спекулировать лавочки эстетической и моральной барахолки, пытающиеся пристегнуть старье на потребу нового дня.

Маяковский — снова на трибуне, и снова язвительно и страстно обрушивает он кулак своего стиха на рухлый костяк, при-

шедшей вратать в льющуюся лаву благословенного поэтом «сегодня».

Не в одних технических достижениях «земля обетованная» —

Паровоз построить мало,  
накрутил колесо и утек.  
Если песнь не громит вокзала,  
то к чему переменный ток?

Творимых революцией чудес не может быть в результате голых схем и одних дисциплинарных повелений. Радость созидания может быть лишь там, где не менее дерзало радостное разрушение. Если революция не вросила себя в человеческую душу, то не приказ же чиновника создает ритмы, от которых сердце дрогнет, уколотое шпорой восторга!

Это мало построить парами,  
распушить по штанине кант:  
все совдепы не свинули б армий,  
если марш не дадут музыканты.

Но где эти музыканты? Перекрашенные ли лукоморцы, вылезшие пристроиться, когда новый грохот миновал? Гражданские ли поэты, худосочные отпрыски жалостливых баринков? Парнасцы ли, уверяющие, что жизнь не смеет ряхить торжественного величия искусства? Но — кем бы они себя ни называли, футуристу они рады согласованно поулюлюкать. Ведь футуристы вытравляют почтительное преклонение перед именем, подставляя на пустое место требование постоянного творческого напряжения. Говорят же они поэтам:

Слава вам! Для посмертной лести  
Да не словит вас смерти лов.

Радость творца не в постройке себе посмертного монумента, а в творческом растворении себя без остатка, как бродила в психике коллектива.

За что зацепиться не могущим себя переломить и заговорить на языке проколотой восстанием души? вдоль каких берегов вести им свое каботажное плавание? на какие маяки им ориентироваться? — ведь не Маяковского же в самом деле производить в светочи (молоды-с, сударь; самонадеянны-с!)

И вот враги футуристов объявляют себя единственными премниками великой культуры и в перебой бросаются спасать эту культуру и спешно чинить рогатки вокруг многоуважаемых покойничков, вопя о «здоровых началах» и прочих солидных пус-

тозвонах кооперативно-календарной мудрости. И чуждо им то, что Пушкин или Рафаэль в активном процессе роста искусства ценны лишь постольку, поскольку они своим пришествием в мир обусловили и предопределили существование сегодняшних Маяковского и Лентулова. В творчестве футуриста действительность есть единственный ценнейший, но в то же время аморфный материал, должный быть взорванным динамитом волевого интеллекта.

Маяковский принимает вызов и вступает в борьбу, осложненную уже тем, что противники не прочь прикрыться авторитетом революции и возопить о хуле на революционный народ. «Рабочие, мол, отказываются от футуристов, ибо они им не понятны». И очертания нового догмата непогрешимости готовы возникнуть в атмосфере неизжитого холопства.

Тактика Маяковского аналогична тактике революции; это — прямое действие. С трибуны, непосредственно в души настороженные, кричит поэт о новом, о радостном, о перестраданном, о вечно живом лике души человеческой, имя которому — искусство. Не замедляйте бега революций, ибо еще не исчерпана воля к творчеству новых форм.

Его ставка — на молодых и горячих, ибо за ними будущее.

Это что корпеть на заводах,  
перемазывать рожу в копоть  
и на роскошь чужую и отдых  
осовельми глазками хлопать.

.....

Будущее ищем,  
исходили версты торцов,  
а сами расселились в кладбищах,  
придавлены плитами дворцов.

Искусство — не забава, но мерило человеческой личности. Долой низкопоклонство! Творя завтрашний день из ненависти к вчерашнему, помните, что сладкими ядами тянет от великих мавзолеев.

Белогвардейца найдете и к стенке,  
а Рафаэля забыли? забыли Растрелли вы?  
Время пулям по стенам музеев тенькать,  
стодюймовками глоток старье расстреливать!

.....

Коммунисту ль распластываться перед тем, что старей?

Поэт — зоркий часовой грубо окликает тех, кому страшно занести руку на все, что привыкло считаться непреложной святыней.

За целость Венеры вы  
 готовы падить веков камарилью.  
 Вселенский пожар измочалил нервы —  
 орете пожарных!  
 горит Мурильо!

Маяковский чужд фатализму: раскрепощенная человеческая личность для него таит в себе совершенно неслыханные возможности. Ему кажется преступлением заменять пассивным восприятием непосредственное ежеминутное творчество. Шаблоны расслабляют.

Мы не подносим — готово на блюде,  
 хлебайте сладкое с чайной ложки.

Революция обязана создать нового человека, а потому:

Клич футуриста были б люди —  
 искусство приложится.

Грош цена такому будущему, для которого не будут созданы глаза, чтоб увидеть, ушей, чтоб слушать, языка, чтобы сказать ново о новом. Класс-завоеватель, открывая новую эру, должен сам оборвать пуповину, тянущуюся к вчерашнему дню.

А мы не Корнеля с каким-то Расином,  
 отца — предложи на старье меняться —  
 мы и его обольем керосином  
 и в улицы пустим для иллюминаций.

Хулиганский глум или иступленное изуверство? Кто эти — «мы»? Поэт отвечает:

Мы не вопль гениальничанья: все дозволено!  
 Мы не призыв к ножевой расправе.  
 Мы только не ждем фельдфебельского «вольно»  
 спину искусства размять, расправить.

Пока поет революция, да будет путь созидания эстетических ценностей созвучен тому шоссе, по которому катятся его броневики. Горе костыльной беспомощности, забывающей, что интеллект должен быть механиком, зорко тянущим провода ко всем важнейшим узлам явлений вещей и чувств в атмосфере напряженной коллективной воли.

Эй, двадцатилетние, взываю к вам!

Юным легче воспринять завет движения: им не отчего еще от-  
рекаться, ибо лишь старости тяжело швырять в печку альбомы  
былых увлечений и менять опытный расчет на риск и экзальта-  
цию. Ведь у юных от природы мускулы зудят к усилям, губы  
к поцелуям, голоса к зыку, глаза к краскам. Ведь чудотворица-  
революция умеет юношами делать седых и лысых. В ней лишь  
героизм становится обычен, как пиджак, а монотон постовой  
службы радостнее игры в горелки. Поэт видит, как

у красной от пьяного пунша земли  
взбухает утроба —  
рядами выходят юноши.

Неважно, примут ли они возвестителей их прихода, как во-  
жаков. Их лава может показаться неожиданно стремительной,  
и чириканьем птички покажется львиный рык зовущего. Пус-  
кай! Наплевать на выслугу лет, лишь бы души жили!

Под ноги топчите ими.  
Мы бросим себя и свои творенья,  
мы смерть зовем рожденья во имя,  
во имя бега, паренья, реанья.

Нечего жалеть, что на лоб картин и стихов набегут морщины  
старости: были бы люди, новое создается. Нечего плакать над  
якобы мизерной ролью микроскопических толкачей мирового  
оползня:

Пусть, хотя б по капле, по две  
наши души в мир прольются  
и растят рабочий подвиг,  
называемый революцией.

Стоит ли обращать внимание на исподворотные визги и не-  
одобрительное побряхтывание!

Пускай с газеты какой-нибудь выродок  
сражается с нами не на смерть, а на живот —  
всех младенцев перебили по приказу Ирода,  
а молодость ничего — живет!

Резко чувствуется, какой шаг делает Маяковский от своего  
пережитого гордо отъединенного «Я» к этому ново звучащему  
«Мы». Он уже перешагивает из эгоцентрических построений  
в мир согласованно радостной коллективной воли. Не на той или  
иной отдельной личности расцветает и срывается футуризм, но

на массовом напряжении класса-завоевателя, а потому нечего бояться, что

нас футуристов  
всего быть может только семь.

Ведь десять лет тому назад футуристов было еще меньше, а стены еще толще, и все-таки только они, неумные, мотыгами новокованных слов и ритмов нащупали русла, тогда еще подземные, по которым хлынуло водополье переживаемых нами годов.

Поэт не закрывает глаза и на то, что пройдут дни железа и крови и человечество вновь ступит на тропы мечтаний и занежится на луговинах сладостного созерцания, досадливо отменяя в сторону утомляющие марши и гимны. Недаром Маяковский говорит:

Когда прорвемся сквозь все заставы  
и праздник будет за болью боя,  
мы все украшенья расставим заставим —  
любите любое.

Но сейчас, пока кастаньетами черепов играет свой марш «Необходимость», рано думать об уютах каминов.

Костер на мозглом лагерном привале и сторожевые оклики — вот камины и соловьи молотобойцев грядущего.

А рядом с маршем миллионов, выпечатаывающих свое счастье на голой коже земли, — напряженно-суровый окрик барабанщика революции, Маяковского:

Кто там шагает правой?  
Левой! Левой! Левой!

*Пекин. Март, 1921*

